

Анна НАЗАРЕНКО



АУСВАЙС (Новелла о любви)

Памяти моей польской бабушки Паулины

* * *

Холодный дождь лил две недели подряд. А сегодня с утра немного приморозило. День обещал быть солнечным, но душу не покидала досада. Это чувство с некоторых пор поселилось во мне. Может быть, оно вызвано новым назначением, которое я получил после госпиталя. Мне полагался отпуск, но командование решило иначе, и вот теперь, едва попрощавшись с семьёй, еду в Польшу.

Что такое война, довелось узнать рано, не из книг – отец инвалид первой мировой. И хоть я не сторонник захватнических войн, но исполнять свой долг – долг офицера и гражданина – обязан.

Война... Не время сейчас думать о личном. Но мысли снова и снова возвращаются туда, в Альтенбург, где без матери, да и без отца тоже, на попечении моих родителей растёт дочь Анхен. Её мать Хелена, убежавшая десять лет назад с обер-лейтенантом Краузе в Испанию, даже и не вспоминает о ней. Это событие тогда перевернуло всю мою жизнь – жизнь казалась невозможной, хотелось даже застрелиться, но большие голубые глаза моей и так осиротевшей девочки вернули меня к жизни.

Я возненавидел всех женщин – раздражали их улыбки, их жеманство, кокетство. Позже боль утихла, я смирился, а может, просто стал понимать, что и сам виноват – нужно было больше уделять внимания жене. Все равно к женщинам по-прежнему отношусь с недоверием. И только с дочерью забываю обо всём. Она – девочка добрая и чуткая, учится музыке, у неё удивительные способности. Скрипка в её руках и поёт, и плачет... Как они там будут без меня, мои старые родители и дочь?

Уже шесть часов я в пути. Дорога петляет

вдоль речки. Речка Сан – прочёл на указателе. Значит, до города Пшемысля, места моего назначения, ещё около ста километров. Как относиться к своему новому назначению, я пока ещё не разобрался. С одной стороны звание штабс-офицера обязывает подчиниться долгу, а с другой стороны не очень-то приятно быть штабным чиновником на завоёванной территории в любой должности. Машина проезжает через польские селения, и я вижу, какими недобрыми взглядами провожают её поляки...

Через пару часов в комендатуре Пшемысля получил приказ продолжить путь до села Вильшаны, где должен остановиться в доме пани Леснёвской. Следует организовать экономическую и политическую жизнь села в соответствии с приказом Вермахта.

Снова дорога. Солнце светит ярко, но не радует. Подмёрзшие с утра дороги оттаяли и раскисли, так что неизвестно, когда закончится это путешествие. Скорее бы, очень хочется отдохнуть.

И вот в пять часов пополудни я въехал в село. Ровными рядами вдоль дороги стоят белёные хаты, крытые соломой. Несколько домов выделяются среди них своими черепичными крышами и основательными постройками. Возле каждого дома и вдоль улицы много деревьев, видимо, фруктовых, потому что на некоторых ещё не облетевшие листья и яблоки.

Отметившись в комендатуре, поехал искать дом, в котором мне предстоит жить. Это оказался большой дом на холме с огромным хозяйским двором. Чёрная лохматая собака встретила меня злобным лаем. Следом же показалась невысокая женщина лет сорока с усталым лицом. Она отдала собаке какую-то команду и взглянула на меня откровенно недружелюбно.

Анна Александровна Назаренко родилась в с. Сидорово Новокузнецкого района Кемеровской области. Более тридцати лет работала в экологической службе Западно-Сибирского металлургического комбината. Автор нескольких книг стихотворений, печатается в коллективных сборниках, в журналах и альманахах Сибирского региона. В настоящее время член Правления Кемеровского областного отделения писателей юга Кузбасса. Поэт, Член Союза писателей России. Живёт в г. Новокузнецке.

– Что вам угодно, господин офицер? – спросила на хорошем немецком языке.

– Мне нужна пани Паулина Леснёвска. В комендатуре сказали, что могу поселиться у неё.

– Пани Паулина – это я. Однако, меня о Вас никто не предупреждал... Но раз уж Вы здесь, приходите в дом. Вам придётся подождать, пока я приготовлю Вашу комнату.

В доме уютно, светло и чисто. Стол, стулья, портьеры в гостиной – всё просто, но выполнено со вкусом и вызвало уважение к хозяйке.

Она подготовила и показала комнату, а позже пригласила меня поужинать. Ужин скромный – глазунья с домашней колбасой и чай. Сама к столу не села. Прислонилась к стене и, не скрывая любопытства, рассматривала меня.

Чтобы как-то сгладить неловкость, я извинился, что не сделал этого раньше, и представился:

– Меня зовут Питер Дизендорф, штабс-офицер комендатуры. Вы должны знать, что за моё проживание Вам будут платить приличные деньги. И ещё. Мне бы очень не хотелось ужинать в одиночестве. Кроме того – я буду приезжать и на обед. А завтракаю я обычно чашечкой кофе.

Я взглянул на неё и оторопел. Показалось, что из её больших зелёных глаз вылетают искры. Она едва сдерживала гнев. Эта маленькая, хрупкая женщина, похожая на подростка, вдруг вытнулась как струна. Её осанка демонстрировала, будто передо мной королева, не меньше. Корона из русских кос на её голове довершила этот образ.

Что же я сделал или сказал не так? Чем вызвал этот огонь?

Гордо подняв голову и глядя на меня свысока, она произнесла:

– А вот это вряд ли! Я не умею готовить. Раньше у меня была горничная, но по воле новой власти теперь её нет. Для себя приготовить ещё кое-что могу, но для Вас, господин офицер, извините, не стану. Можете даже меня расстрелять!

– Ах, вот в чём дело! Прошу Вас, не обижайтесь. Завтра мы эти дела уладим и вернём вашу горничную. И ещё раз настоятельно прошу Вас – не отказывайтесь обедать и ужинать со мной.

* * *

«И прошу Вас, не отказывайтесь обедать и ужинать со мной», – сказал немецкий офицер Питер. Да что же это? Неслыханно! Оккупант будет жить в моём доме, и я должна не только прислуживать – сидеть с ним за одним столом и улыбаться?! Пся крив! И ничего нельзя изменить. Как же – теперь они хозяева на нашей земле... А вот мой сын уже не сможет ко мне зайти.

С тех пор, как немцы заняли Польшу, всё стало по-другому. Теперь я уже не хозяйка своего поместья. Нет, по-прежнему владею этой землёй, но самостоятельно не могу распоряжаться тем, что на ней вырастет. Даже работников, которые всегда помогали мне, не могу нанять сама. Только с разрешения немецкого командования из комендатуры. Хорошо ещё, что в сентябре я успела продать часть урожая пшеницы и картофеля. Теперь есть немного средств, можно будет хоть как-то пережить зиму.

Ноябрь. Зима уже скоро, по ночам подмораживает. И на душе пусто и холодно. Душа болит о сыне. Где он сейчас? Жив ли? Ему всего двадцать лет – только-только закончил военный колледж и в августе поступил на военную службу, ещё и понять ничего не успел, а тут война. Олекса – красивый, высокий, статный. Таким был его отец

Юзеф. Где же мой сынку? Неужели и его суждено потерять. Юзеф уехал к себе на родину, в Югославию, ещё когда Олесь был у меня под сердцем. Сказал, что уладит всё в родительской семье и вернётся. С тех пор прошло двадцать лет. Давно уже никого не жду. Но Олесь, моя кровинка, моя единственная отрада, где же он? Только бы знать, что жив, и сразу бы стало легче.

Кажется, эти мысли не давали мне уснуть всю ночь.

...Кто-то стучит. Кого ещё принесло в такую стужу, да ещё с самого утра? О! Это моя горничная. Моя милая девочка Русечка Сикора. Её мама, пани Мария, отдала её в услужение больше года назад, ей не было и семнадцати. Это умная, старательная и очень добрая девушка. Смотрю на неё – как же расцвела, как похорошела. Совсем взрослая. Но зачем же она пришла? Ведь нельзя ей у меня работать, да и свободно разгуливать по селу опасно – немцы формируют группу молодёжи для отправки в Германию.

– Пани Паулина, с добрым ранком! У меня и вести добрые. Я к Вам с письмом от Олексы. Он прибежал ночью ко мне на хвильночку, просил передать это письмо.

– Что же ко мне не зашёл? Как же так? Хотя... теперь это невозможно.

– Поверьте, пани Паулина: он очень хотел зайти, но боялся, что могут увидеть. А наш дом, сами знаете, ближе к лесу, и вот... вот Вам письмо.

Дивчина зарумянилась, засмушалась и убежала. А у меня в руках остался тёплый листок смятой бумаги. Даже удивительно: в холодном, промозглом утреннем воздухе этот комочек сохранял тепло.

Руки дрожат, к глазам подступили слёзы. Читаю: «Мамуся, я тут недалеко, в лесу, но об этом никому нельзя знать. Поэтому сожги письмо. Если будет возможность, напиши ещё. Прошу тебя – передай тёплые вещи и еды Сикорам. Люблю тебя и целую твои ручки. Олесь».

Конечно же, милый сынку, я всё сделаю. Пусть только Господь хранит тебя! А я молиться буду и ждать. Так же, как когда-то молилась и ждала твоего отца.

Юзеф, Юзеф, если бы ты видел, какой у нас сын – и умный, и с добрым сердцем. А уж какой красивый, так ты и сам можешь догадаться.

Тогда, много лет назад, мне казалось, что тебя послало небо. А как же иначе – ведь это я, молоденькой медсестрой, ухаживала за тобой, когда после операции на ноге ты не мог ходить. «Своей заботой и любовью ты поставила меня на ноги», – так ты говорил, когда стал подниматься. Это была наша счастливая весна. Мы мечтали, строили планы на будущее. Но ты уехал. И всё, что было потом, мне пришлось пережить одной. Жизнь закрутила так, что некогда было предаваться мечтам ни о тебе, ни о ком-то ещё. Мой отец заболел после смерти мамы, не вынес одиночества, и мне пришлось много лет ухаживать за ним. И самой вести хозяйство. Помогал, правда, вуйку Анджей, он был у нас управляющим. А когда схоронили отца, я стала больше времени заниматься хозяйством, вуйку Анджей научил меня всем примудростям этого дела. Сам он так и остался управляющим. Часто говорил мне: «Паулина, тебе нужен чоловік, а поместьем хозяин. Да и сыну нужно мужское воспитание». Он даже приводил мужчину из другого села, но никто, никто не мог сравниться с моим Юзефом.

А теперь мне уже сорок три, да к тому же – война.

Ну, вот и хорошая новость – сын жив и здоров. А тёплые вещи и еду соберу и передам, как только уйдёт в свою комендатуру офицер Питер.

Хорошо ещё, что немец вернёт в дом мою помощницу, мою Русечку. Без неё на самом деле сейчас не обойтись. Да и её, таким образом, уберёжет от депортации в Германию. Немцы уже провели одну облаву по сбору молодёжи. Сколько же крику и слёз было в селе! Попытки ребят спрятаться где-то в сарае не удались, немцы искали тщательно – штыками протыкали сено и солому. Руся не успела тогда убежать в сарай, в последний момент юркнула под кровать. Это и спасло – не додумались они заглянуть туда. Ну а теперь, может, всё и обойдётся: этот Питер не так страшен, как показалось сначала. И лицо у него благородное. Ведь мог бы приказать мне, поставить условия, а он ещё и просит. Ну, да ладно, время покажет его настоящее лицо.

...Дни потянулись похожие один на другой. Мы с Русей хлопотали на кухне и прибирали в доме. Офицер уладил в комендатуре все дела с работниками, и теперь помогать Анджею во дворе приходит пан Сикора, а его жена пани Мария помогает доить коров. И всё бы неплохо, да вот от сына опять давно нет вестей. И моя Русечка молчит – видно, тоже ничего не знает, а то сказала бы.

Ужинали мы с Питером первое время молча. Он иногда задавал вопросы, я отвечала. Он не особенно разговорчив – казалось, что обдумывает каждое слово, прежде чем произнести его. А потом, когда он стал рассказывать о своей семье, я заметила, как потеплел его взгляд. Постепенно я как-то прониклась к нему доверием. Всё больше нравился его спокойный нрав и внимательный, какой-то сочувствующий, взгляд. Было в нём что-то по-настоящему мужское. Это подкупало и вызывало воспоминания о Юзефе. Но в такие моменты я всегда говорила себе: «Стоп. Держи себя в руках, Паула».

Как-то он сказал, что немцы готовят операцию против лесных партизан, и если я знаю, где мой сын, то не лучше ли его предупредить. Я испугалась. Сердце сжалось в комочек. Что это? Провокация? Но ведь я уже говорила ему, что давно не имею вестей от Олексы.

В муках и сомнениях прошла неделя. Не знаю, дошло ли это сообщение по назначению, но операция по поимке партизан успеха немцам не принесла. Партизаны сменили место дислокации. Кто-то их предупредил. Питер, наверное, думает, что это я. Ну и пусть себе думает...

Жизнь в доме приобрела размеренное течение – завтраки, обеды, ужины, хозяйство. Будто не было никакой войны. Тревожило только отсутствие вестей от сына. К офицеру я уже привыкла. Он ничем не беспокоил, вёл себя достойно, уважительно. Порой казалось, что он рассматривает меня, но встретившись взглядом, я видела, каким равнодушным, даже колочим был этот взгляд. И вдруг однажды вечером он пришёл с букетом хризантем. Смутившись, протянул их мне.

– Это Вам, Паулина. Вы всегда такая печальная – может, этот букет вызовет Вашу улыбку.

От удивления у меня, наверное, открылся рот, потому что, глядя на меня, он засмеялся. Я тоже засмеялась. Уже и не помню, когда в последний раз получала цветы. Где же он их взял, ведь зима? Неужели ездил за ними в Краков? Оказалось, что

купил букет в Пшемысле, куда отвозил начальству документы.

Цветы стали появляться в моей вазе часто. Можно было подумать, что за ними последуют другие знаки внимания, но нет, офицер оставался по-прежнему деловит и сдержан. По вечерам за ужином мы говорили обо всём, что произошло за день. Иногда он, как будто невзначай, рассказывал о каких-то планах немцев, при этом очень пристально смотрел на меня. Было не по себе от этого взгляда: хотел ли он о чём-то предупредить, или его взгляд означал другое – я не понимала. Но что-то стало происходить со мной. Я больше не испытывала к Питеру неприязни. Начала заглядывать в зеркало, прихорашивалась к его приходу. Даже нервничала, если он почему-то задерживался.

Приближалась весна, и все свои перемены я связывала с ней. Может, была и другая причина, но в этом я боялась себе признаться. А однажды Руся сказала: «Какая Вы стали красивая, пани Паулина, уж не влюбились ли Вы?». Неожиданно я смутилась. Сказать было нечего, пришлось отшутиться: «Что это ты себе позволяешь, как разговариваешь с пожилой женщиной? Это тебе в пору влюбляться».

Что же мне делать? Ведь не могу же я этому милому оккупанту показывать свои чувства. Нет, ни за что! И я стала сдержанней, стала контролировать свои эмоции. Но как это трудно!

Весна всё сильнее врывается в мою жизнь то необузданной капелью, то весёлым щебетаньем птиц за моим окном. И сама я наполнялась какой-то взрывоопасной нежностью. Я стала запереться в своей комнате, отказывалась от совместных ужинов с Питером, ссылаясь на недомогание. И однажды случилось непредвиденное. После ужина он попросил меня остаться для разговора.

– Знаете, Паулина, – сказал он, – я должен от Вас съехать, потому что не могу больше проживать в Вашем доме.

Я замерла. Сама не понимала, радоваться мне или огорчаться.

– Вы вольны делать, всё, что захочется, – ответила я. – Но позвольте всё же узнать причину, по которой Вы съезжаете?

– Причина проста, Паулина. Вижу, что Вы сторонитесь меня, избегаете. И это мне понятно – я немец, враг. Но не буду ходить кругами... Не знаю, как с Вами объясниться. Давно уж ни одна женщина не заставляла меня так много думать о ней и страдать. Я, глупец, решил, что и Вы ко мне неравнодушны. На мгновение показалось, что Бог дал мне ещё один шанс на счастье. Но вижу, что ошибся. Если этот шанс Вы со мной не разделяете, я просто вынужден от Вас съехать, чтобы не строить иллюзий.

Я заплакала, сама не знаю почему. Всё, всё, что так много лет во мне таилось, всё, что я сама в себе подавляла, вырвалось наружу. Что же мне ему сказать? Что я тоже измучилась, что теряю голос, когда вижу его, что по ночам заснуть не могу и всё думаю, думаю – за что же мне такое? Я плакала, а он подошёл ко мне и стал утешать... Ну, что уж тут поделаешь.

* * *

Ну, что уж тут поделаешь. Если судьба свела нас в такое время и при таких обстоятельствах – значит, ей так было угодно. Что-то оттаяло в моей душе. Всё разрешилось само собой к нашей общей радости. Я написал своим родителям, что

живу с благородной, гордой и красивой женщиной, с которой собираюсь вступить в брак. А ей и со-общать было некому. Разве только сыну. Боюсь, что это известие его не порадует.

Даже её работники стали обращаться к ней с холодком. Но это не так страшно, главное – её сын. Мне стало известно, что в партизанских отрядах произошёл раскол. Одни решили вступить в Армию Крайову, а другие – разбрелись неорганизованными группами. Знать бы, где он – может, и смог бы ему помочь ради моей полячки.

И о чём они там шепчутся и шепчутся с горничной?

– Разве от меня есть какие-то секреты, – спросил я, входя в кухню. Обе смутились.

– Нет, нет, Питер. – сказала Паулина. – Просто мне нужно навестить пани Марию, маму нашей Руси, потому что у неё заболел один из мальчиков – Антон. Ты же знаешь, что я медсестра, я должна помочь, ведь они мне как родные. Не сердись, я очень быстро вернусь.

Вернулась она взволнованной. Долго ходила по комнате, как будто собираясь что-то сказать. Я решил ей помочь.

– Тебя что-то мучает? Что-то серьёзное с ребёнком?

– Да, очень серьёзное. Но только с моим ребёнком. Любишь ли ты меня настолько, чтоб я могла тебе доверять?

– Конечно, дорогая. Что случилось с твоим сыном? Он ранен?

– Нет, к счастью, он здоров. Но скрывается у пана Сикоры. И я не знаю, что теперь делать. Ведь к нам ему нельзя, да и сам он против этого. Помогите мне, сделайте что-нибудь.

– Успокойся. И давай подумаем вместе, что можно сделать...

Уже на следующий день я предложил Паулине свой вариант.

– Может, нам оформить его твоим управляющим? Ведь в полицию, как я понимаю, он не пойдёт. К тому же, твой дядя Анджей уже старый и слабый, так? Если мы официально сделаем сына твоим управляющим, то власти оставят его в покое. Анджей, если захочет, пусть помогает ему. Ведь весна в разгаре, сеять надо.

– Боже мой, какой ты умный, как же я тебя люблю. Сейчас же побегу туда и всё ему скажу.

– Не надо никуда бежать. Пусть завтра горничная скажет ему. Но сначала нужно всё тщательно обдумать и уладить в комендатуре. Это я беру на себя. Доверься мне.

* * *

«Это я беру на себя. Доверься мне», – сказал Питер, и у меня как будто гора свалилась с плеч. Сердце не обмануло меня, я всё-таки встретила мужчину, который все мои проблемы берёт на себя. Сомнения, конечно, были – так ли уж всё безопасно, как говорил Питер. Но время показало, что ему можно доверять.

Теперь мой Олекса, укравшийся в лесу, будет управлять помещьем. Видно, не суждено ему стать военным. Долго мне пришлось убеждать его, что это лучше, чем идти в Армию Крайову. Наконец, он согласился, я и познакомила его с Питером. Олесь не знает немецкого, мне приходится быть у них переводчиком. Но так даже лучше, потому что сын никак не может примириться с мыслью, что его мать живёт с оккупантом.

Теперь Олесь полностью погрузился в заботу

о севе пшеницы и ржи – нанимает работников пахать землю и для другой работы. С людьми он умеет ладить, а землю знает с детства, и всё у него получается. Мне от этого спокойно и хорошо. К тому же я заметила, что мой сын часто бегаёт на кухню к Русечке. А она уже встретила свою девятнадцатую весну и не скрывает симпатий к моему сыну. Да я и не против. Хорошая бы получилась пара. Дай-то, Боже. Кажется, это то, о чём я мечтала.

...Невероятное, головокружительное женское счастье захлестнуло меня. Понимаю, что не время сейчас, но сопротивляться не могу. Все мои мысли заняты этой, свалившейся так некстати, любовью. Всеми клеточками своего тела наслаждаюсь каждым прожитым днём.

Лето пролетело, а я и не заметила. Но где-то в глубине души всё же понимаю, что это не может продолжаться вечно, что-то обязательно произойдёт, и наступит отрезвление. И вот...

Питер сказал, что мы приглашены на приём к коменданту Пшемисля по случаю назначения этого начальника бургомистром Кракова. Я разволновалась и хотела отказаться, но Питер настаивал. Это необходимо для нас обоих, ведь скоро я стану фрау Паулиной, значит, самое время представить меня руководству. Что ж, повод особенный – я стала собираться.

На приёме я была представлена будущему бургомистру и его супруге. Всё было хорошо – были тосты в честь хозяина, поздравления. И лишь когда зазвучали здравицы фюреру, мне стало не по себе. Я не знала, как себя вести и что делать. Питер, видя моё смятение, взял меня под руку и отвёл в сторону. Он, видимо, хотел меня успокоить, но когда мы проходили мимо группы офицеров, один из них воскликнул: «Ай, да молодец Питер Дизендорф, какую польскую дюймовочку подцепил во время войны...». Другой ответил ему, что ничего в этом особенного нет, многие офицеры так делают. Дальше я уже не могла слушать – кровь прилила к лицу. Я посмотрела на Питера – он был невозмутим.

– Не обращай внимания. Они ведь не знают, что ты говоришь по-немецки.

– Да разве в этом дело, знают они или нет! Важнее то, что они говорят. А ты что же не возмущаться их поведением? Или всё обстоит именно так, как они сказали? Я хочу домой! Скажи, пусть меня отвезут, не хочу больше здесь оставаться.

– Мы уедем вместе, и тогда, когда я скажу. Возьми себя в руки! Дома поговорим.

Дома он говорил жёстко и холодно:

– Да, многие офицеры так и делают. И что с того? Ты считаешь, что я должен был устроить скандал на приёме на глазах у всех? Я офицер, и назначен сюда для того, чтобы навести порядок, а не устраивать беспорядки. К тому же они, офицеры, сделали тебе комплемент, сами того не подозревая. Разве нет? И самое главное, пойми, наконец – ты мне дорога, и менять своего решения я не собираюсь. Когда закончится война – на завоеванных территориях установится гражданская власть, и военные смогут вернуться домой. Вот тогда и мы с тобой тоже уедем в Альтенбург.

Утешение показалось мне слабым, буря всё ещё бушевала во мне. А ведь я, ослеплённая своими чувствами, и не загадывала так далеко. В самом деле, что же будет? А что если я нужна ему только на время? А если всё серьёзно и он захочет увести меня к себе, готова ли я с ним

поехать? Эти мысли ещё долго одолевали меня. Будь что будет, решила я и доверилась сердцу.

Но на Питера я смотрела теперь другими глазами. Иногда казалось, что он слишком спокоен, недостаточно эмоционален. Однажды он сказал мне, что было бы разумнее мерить любовь поступками, а не эмоциями. Питер был прав. Понемногу я успокоилась. Но трудно всё же быть счастливой, когда война, и когда на твоих глазах погибают те, с кем прожита целая жизнь.

Немцы постоянно устраивают «зачистки». Так они называют уничтожение больных, слабых, а также цыган и евреев. Недавно в упор расстреляли Янка Клименку, тридцатилетнего украинского парня, только за то, что он был немного не в себе. Он был безбидный и весёлый. Его все в селе любили и жалели. Было это в день, когда казнили партизана. Партизан пришёл в село за хлебом, но уйти не успел, видно, кто-то донёс. И немцы для устрашения населения устроили публичное повешение. Каратели согнали к месту казни всех жителей. Тётка Ганна, мать Янки, наказывала ему оставаться дома и носа не высовывать на улицу. Но где там – всегда такой послушный, в этот раз он не утерпел и пришёл на площадь в тот самый момент, когда партизан уже извивался на верёвке. Люди стояли с поникшими головами, никто и не заметил, когда он подошёл. И доброе сердце Янка не смогло перенести такой сцены, он завыл, как раненый зверь. «Зачееем? Он хороооший! Он хороооший! А ты плохооий!» – выкрикнул он немцкому офицеру. Ганна обернулась и обомлела. Офицер немедленно выдернул Янку из толпы, потащил на середину площади. Когда понял, кто перед ним, стал насмехаться. «А ты, ты хороший? Ты хороший, скажи», – спрашивал он Янку. Ганна ползала на коленях и умоляла офицера отпустить несмышлёного парня, но её оттащили и бросили в толпу. «Я хороооший, а ты плохооий...», – повторял, размазывая слёзы по лицу, Янко. «Ну, раз ты такой хороший, то твоё место рядом с тем хорошим партизаном», – сказал офицер и, не раздумывая, выстрелил в голову Янки. Ганна с криками кинулась к сыну, но теперь уже односельчане удерживали её. Ужас охватил людей, от страха никто не мог двинуться с места. Тогда немцы стали разгонять жителей по домам. Только когда стемнело, мужики забрали и перенесли тело Янка в дом Ганны. Похоронили его тихонько, без слёз. После этого случая люди ещё долго не могли прийти в себя, даже разговаривали друг с другом шёпотом. Теперь уже все понимали: не дай Боже кому заболеть какой заразной болезнью, лечат только одним способом – «зачисткой».

Скоро в селе стали поговаривать, что немцы куда-то увозят евреев, и никто из них пока ещё не возвращался назад. Евреи забеспокоились. А у меня соседи Ида и Иосиф тоже евреи. У них большая семья – пятеро детей. Двое уже взрослые, а ещё трое – один меньше другого. Что с ними будет? Мы жили всегда дружно. Иосиф часто помогал мне то делом, то добрым советом, а с Идой мы как сёстры, ведь и росли мы вместе. Да и Олесь мой дружил с её старшими – сыном и дочерью.

Питер как-то сказал мне, что вывезят евреев в гетто под Краковом. Но и там они долго не проживут, их ждут расстрелы и газовые камеры. Тот, кто заранее уедет из страны, может и спастись, но шансов очень мало.

* * *

«Тот, кто заранее уедет из страны, может и спастись, но шансов очень мало», – так сказала Паула. Это всё, что она узнала от Питера. Значит, медлить нельзя ни минуты.

– Иосиф, что же ты всё куришь и куришь свою трубку? Давай уже собираться. Нужно спасать детей.

– Куда же мы пойдём, Ида? Ведь нам и документ не надо предъявлять, у нас на лицах всё написано. Крамеры хотели уйти в Белоруссию, но их на границе не пропустили, да ещё всё отобрали. Вернулись босыми и голыми.

– Но нельзя же сидеть и ждать смерти. У Крамеров не получилось – может, у нас получится. Давай попробуем через Украину и в Россию. Отдадим на границе все наши деньги и всё наше золото. Ну, ведь люди же они там. Сколько наших украинских семей уезжает – давай и мы с ними.

«Ты не понимаешь, Ида. – сказал мне Иосиф. – На границе сейчас тоже немцы, и они не возьмут наших денег и нашего золота. Нет, они, конечно, всё заберут, но и нас не выпустят. Вот если бы у нас к нашему золоту, да ещё и аусвайс (пропуск) был, то у нас, Ида, был бы шанс попробовать. Но такой аусвайс нам, как ты понимаешь, никто не выдаст. Значит, и идти нам некуда».

Что же делать, Боже, что же делать? Я плачу, я мечусь из угла в угол. Мне кажется, что выход где-то есть. Его просто не может не быть. Ведь мои деточки – две доченьки и три сынка – они такие красивые, добрые, смыслёные. Боже, ну, чем они провинились? Я так хочу, чтоб они жили. Господи милостивый, возьми мою жизнь, а деточек моих спаси и сохрани. Нет, нет! Я не верю, что это конец. Я чувствую, что выход обязательно найдётся.

Я не могу есть, не могу спать. По очереди сижу у постели моих детей, глажу их курчавые головы и плачу, плачу. И вдруг в голове молнией сверкнуло – Питер. Питер... Как же не догадалась раньше? Я брошусь к ногам Паулины, буду умолять её. Пусть Питер достанет нам аусвайс. Я отдам всё, что у нас есть, только бы спасти детей. Всё, всё отдам, только бы спасти детей.

* * *

«Всё, всё отдам, только бы спасти детей», – сказала Ида и бухнулась мне прямо в ноги.

– Ида, что с тобой? О чём ты говоришь? Что я могу для тебя сделать? Ты же знаешь, что ты мне как сестра, но я не знаю, чем тебе помочь. Уезжайте, уезжайте быстрее, пока ещё не поздно. Или детей увезите и спрячьте где-нибудь. Может, надо где-то переждать это лихое время.

– Паула, милая. Уговори Питера, ведь он сможет достать аусвайс. Для него это пара пустяков. А я за вас... нет, мы все за вас молитесь будем.

– Ида, аусвайс для евреев – это невозможно! Ты просишь о невозможном.

Ида смотрела на меня обезумевшими глазами, слёзы текли по её щекам, она их не замечала, только всхлипывала и напряженно о чём-то думала.

Потом, как будто очнувшись, спросила:

– А для украинцев, Паула, для украинцев он сможет достать? Если мы завтра же будем Коваленки, а не Гинзбурги, то тогда Питер сможет достать аусвайс? А мы станем, мы завтра же станем Коваленками...

Мой Бог! Ну, что же с ней делать?

* * *

...Мой Бог! Ну, что же с ней делать? Она весь вечер сама не своя. Такой тёплым сентябрьский вечер, звёзды так и сыплются с неба, а она то плачет, то молчит и смотрит в окно. Не отвечает на мои вопросы, не поддерживает разговор. И чем это я мог обидеть мою гордую Паулу?

— Паула, может, ты расскажешь, что случилось. Я ведь не вынесу твоей печали. Ты же не хочешь, чтоб я умер?

Я пытался шутить и вызвать её на разговор.

— Ну, улыбнись же и расскажи, в чём дело.

— Нет, я не хочу, чтоб ты умер! Я хочу, чтоб ты был счастлив. Но я также хочу, чтобы не умирала Ида и её дети. И сердце моё разрывается от того, что не могу ей помочь. Ну, скажи: что такого плохого в евреях? Почему вы, немцы, их не любите? Почему они мешают вам жить?

Вот оно! Наверное, я должен был предвидеть этот вопрос. Только ответа на него у меня тоже нет. Но как, какими поступками ещё доказать моей полячке, что я ничего не имею против евреев, поляков, чехов и кого бы то ни было? Я не нацист. Ну, как объяснить ей, что я не повинен в том, что происходит... Стараюсь жить по-человечески: если нужно кому-то помочь, помогаю, если нужно на что-то закрыть глаза, закрываю. Но я офицер, и по законам военного времени обязан точно выполнять приказы, иначе... Я в тупике. Ещё недавно я благодарил войну за то, что она свела меня с этой женщиной. А теперь?..

— Паула, если бы в моих силах было изменить ситуацию, я бы сделал это для тебя. Ты мне веришь?

— Да, я тебе верю и потому не смею просить. Я не хочу тебя потерять.

— О чём просить, Паула? Разве я чем-то могу помочь Иде и её детям?

— Я знаю, что не можешь. Ида приходила и умоляла достать аусвайс, но я ей сказала, что это невозможно.

— Как же я рад, что ты меня понимаешь. Тогда и не надо сердиться. Ты же знаешь, я бы сделал аусвайс для кого угодно, но не для евреев. Аусвайс для еврея — это выше моих возможностей.

— А для украинцев? Для украинцев ты мог бы достать аусвайс?

— Конечно. Для украинцев аусвайс сделать можно. Украинцы и сами могут его оформить. Но кто они и почему хотят уехать?

— Питер, дорогой, не хочу тебя обманывать, да это и невозможно. Это Ида и её семья.

Впервые я усомнился в искренней любви моей полячки. Мысли иглами заметались в голове: а не использует ли она меня? Нееет, всё-таки женщины коварные существа. Зачем я опять доверился? От этих мыслей стало горько. Но на смену им пришли и другие: а как бы я поступил на её месте, если бы имел возможность спасти дорогих мне людей? Нет, она не использует меня, просто душа у неё очень добрая, ведь именно это я и ценю в ней. И всё же сомнения разъедали душу. Как же быть? Может, всё-таки стоит попробовать помочь «украинцам Коваленко»? Конечно, это опасно, но, видимо, следует предупредить их, что имя Паулы и моё не должны прозвучать нигде и ни при каких обстоятельствах.

— Да-а-а... я попробую помочь. Но это мало меняет дело. Ты же понимаешь, Паула, что на Коваленко они мало похожи. И тогда на границе им придётся самим выкручиваться. Что ж, пусть в ближайшее время передадут документы, а ты сегодня улыбнись и обними меня. Чтоб я понял, что ты меня искренне любишь.

— Питер, мне кажется, что моё счастье снится мне. И я очень боюсь проснуться. Пожалуйста, подумай ещё раз. Если это так опасно для тебя, я готова отказаться от своей просьбы. Я сама себе не верю и не хочу просыпаться...

Так ворковала моя красавица, и мне приятно было слушать её бархатный голос. Может быть, и мне это только снится?

* * *

Может быть, мне это только снится? Нет, вот он, аусвайс, у меня в руке, и в нём вписаны все семь человек семьи Коваленко. Боже милостивый, я благодарю тебя. Есть ещё добрые люди на свете. Храни их.

И я бежала домой, не разбирая дороги. Мне не хватало дыхания. Думала ли я когда, что вот такой листок бумаги доставит мне столько радости.

— Дети, дети, Иосиф! У нас есть аусвайс, и мы уезжаем немедленно. Собирайтесь! Не берите лишнего. Всё у нас ещё будет. Только бы вырваться из этого пекла. Хорошенько запомните все, как вас зовут, и обращайтесь друг к другу только по этим именам. Не вздумайте ошибиться, от этого зависит ваша жизнь.

... Но радость моя была преждевременной. Аусвайс не помог. На границе нас задержали. Зачем я не послушала Иосифа и не спрятала детей в какой-нибудь украинской семье? Вот и Паула говорила о том же. Что же теперь будет? Неужели не осталось ни одного шанса? Нас отправляют в гетто. А, может, там ещё будет возможность убежать, укрыться, откупиться? Хотя чем откупиться, ничего уже нет. Уже даже слёз нет. Плачут только дети, особенно малышки. И всё время спрашивают: «Мама, папа, что с нами будет?» Что им ответить, как успокоить? Говорю только — никуда не отходите, будьте всё время рядом. Что бы ни случилось, нам нужно теперь быть вместе.

Так прошла ещё неделя...

Офицер вызвал Иосифа. Вот сейчас всё и решится. Время тянулось мучительно, хотя прошло не более получаса, когда Иосифа вытолкнули из двери пропускного пункта, и он распластался у крылечка. Лицо его было в крови. С трудом поднявшись, он без всякой надежды в голосе сказал: «Офицер требует назвать имя того, кто выдал нам аусвайс, иначе наших детей отправят в детский лагерь».

Потом вызвали старшего сына. Я понимала, что сейчас будут бить и его. Я не могла этого допустить и пошла следом за ним. Видеть это было ещё ужасней. Сначала они не били его, а только спрашивали, как его настоящее имя и кто помог нам получить аусвайс. Мой сын, моя кровиночка, говорил, что ему ничего неизвестно. Одним ударом офицер сбил его с ног, сказал: «Полежи и подумай». И тут же невозмутимо обратился ко мне со словами, что если мы не назовём имя человека, выдавшего аусвайс, так будет со всеми детьми. Сына подняли и вместе со мной вытолкали на улицу. Что было делать?

«Даже если такой ценой можно спасти детей, мы это сделаем!» — простонала я. Иосиф пытался возразить, он не верил немцам и напомнил мне о данном Питеру обещании. Молчать, молчать! Но мне так хотелось верить, что дети спасутся, и я сказала ему: «Иди, и спаси хотя бы детей». Тогда он назвал немцам имя Питера. Но и это не помогло нам. Двоих старших детей и нас с Иосифом теперь отправляют в гетто, а младших

сразу же забрали и погрузили для отправки в детский лагерь. Боже, как они кричали, как рыдали мои детки, и я ничем не могла их утешить. Господи, прости меня! Прости и ты, Паула. Что же я натворила!

Теперь ничего не остаётся – только крикнуть детям, что мы когда-нибудь встретимся. Обязательно встретимся!

* * *

«Я рад тебе сообщить, Паулина, что мне дали недельный отпуск. И мы встретимся, обязательно встретимся с моими родителями и дочерью в Альтенбурге», – на одном дыхании выпалил Питер, едва переступив порог дома. О, как я понимаю его! Он так устал за этот год, к тому же письма ему приходили очень редко. Я разделяю его радость, потому что мне и самой очень хотелось познакомиться с его родными. Просто удивительно, что всё-всё получается так, как мы хотим. И я уже не сомневаюсь, что Питер – моя судьба.

Мы стали собираться. Я всё время приставала к нему с расспросами: что мне надеть, какие вещи взять с собой, ведь стало уже холодать. Но он только смеялся над моими страхами и говорил: «Дорогая, в чём бы ты ни была, всё равно ты самая красивая. Не надо брать с собой много, ведь путешествие будет недолгим».

Тогда я села к нему поближе и попросила рассказать подробнее об его Анхен. Что она любит, чем интересуется? Ведь нужно подарить девушке что-то особенное. Мы проговорили весь вечер, а выбирая подарок для Анхен, я остановилась на серебряном браслете, который когда-то подарил мне Юзеф. Красивая вещица, но мне незачем больше хранить память о прошлом. А будущее, я верю в это, меня не разочарует.

...Казалось, мы только уснули, а под окном уже завизжали тормоза машины.

– Питер, что это? Ведь ещё даже не рассвело. Ты так рано заказал машину?

Питер был удивлён не меньше меня. В дверь уже стучали, причём стучали требовательно, похозяйски. Он пошёл открывать, а я поспешила одеться. Когда я вышла к нему, то от того, что увидела, внутри у меня всё похолодело. На пороге стояли два офицера СС. Один из них резко, предупреждая всякие вопросы, сказал: «Собирайтесь! Оба!» Страх сковал мою душу. Я взглянула на Питера и всё поняла. Он стоял бледный, как полотно. Руки его тряслись так, что он не мог попасть в рукав своего кителя. Стараясь всё же сохранять спокойствие, он обратился ко мне: «Паула, душа моя, не волнуйся, там разберутся и тебя отпустят».

От неожиданности я даже не могла плакать. Заплакала уже в комендатуре, когда уводили Питера. Он посмотрел на меня таким долгим взглядом, как будто в последний раз. Я закричала, рванулась за ним, но удар по зубам отбросил меня на пол, и, кажется, я потеряла сознание.

Когда я очнулась, поняла, что сон мой всё-таки закончился. Действительность, которая ждала меня после пробуждения, была ужасной – концентрационный лагерь Освенцим.

* * *

Концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц-1). Это всё, что я мог вымолить для моей Паулы взамен расстрела. На допросе говорил, что она не при чём, что эти Коваленки ввели меня в заблуждение помимо неё. Не знаю, поверили мне или нет, но было сказано, что Освенцима ей не избежать. Этот лагерь немцы организовали недавно на территории Польши и теперь все,

кто хоть как-то выступил против новой власти, попадали туда. Там были не только поляки, а уже и французы, и чехи, и даже немцы.

Я знаю, что моя судьба на этом событии закончится. Знаю, куда меня ведут и зачем. Мысленно я обращаюсь к моим родным и прошу у них прощения за то, что не успел для них сделать. Также мысленно прощаюсь с моей любимой и благодарю за то короткое счастье, что выпало нам. Я иду, смотрю в это холодное серое октябрьское небо и повторяю: «Только живи, только живи, моя Паула».

Когда мы пришли, я уже перестал бояться, просто смирился с неизбежностью.

Потом в моё сердце вошла острая, как стрела, боль и ещё через мгновение стало тепло и темно. Это конец.

ЭПИЛОГ

Морозным январским утром 1945 года нас, узников лагеря Освенцим, разбудила мощной силы канонада. Ни надзирателей, ни конвоиров в бараках почему-то не было. Мы затаились на своих нарах. Те, кто могли встать, пошли узнать, что происходит. В то, что они рассказали, я боялась поверить. Оказалось, что советские войска, проведя артиллерийскую подготовку, входят в город. Немцы в панике разбежались. А вскоре я и сама услышала сначала тихо, а потом всё громче и громче это русское «куррааа...». Многие узники кинулись к воротам и там встречали освободителей. У меня же и ещё у некоторых женщин не было сил подняться, и мы плакали, ещё не веря в своё освобождение. Неужели всё закончилось?

В барак вошли солдаты, стали выносить нас на улицу. Они раздавали хлеб и тушёнку, укрывали нас своими шинелями. Мне достался большой кусок хлеба, его запах сводил с ума. Я откусила немного, а остальное спрятала за пазуху, сил не было даже есть. Нас погрузили на машины и повезли в госпиталь.

Четыре года и три месяца провела я здесь. Холод, голод, унижения и адский труд были мне расплатой за мою позднюю любовь. Я выжила. Вытерпела всё и выжила. Когда меня взвесили в госпитале, я и не удивилась – тридцать шесть килограммов. Лечилась и восстанавливалась в Кракове, потом, когда почувствовала в себе силы, стала работать в этом же госпитале медсестрой.

Поместье я потеряла, да что помещье, я многое потеряла. Мне не известна судьба сына. Не знаю, где могила Питера, да и есть ли она. Как жить дальше? Поселили меня в маленькой квартирке на окраине города, а позже власти Польской народной республики выделили мне, как узнице концлагеря, большую трёхкомнатную квартиру в городе Елена-Гура. Но что мне в ней делать одной? На кого опереться? Одна. Одна на всём белом свете. Надо искать сына... И я искала.

Мне предложили работать медсестрой в хирургическом отделении частной клиники. Стали работать, работать, чтобы забыть... и чтобы никогда не забывать о том, что произошло самое чудовищное – война.

С сыном Олексой мы всё-таки встретились, только эта встреча произошла спустя тридцать пять лет после Победы. За это время он обвенчался с Русей, был выслан из Польши на Украину, а оттуда на Колыму. У них трое детей – два сына и дочь. Им, моим родным, тоже было нелегко, но я несказанно рада, что они вынесли всё, и что моя жизнь продолжается в них.